

Роман ПЕРЕЛЬШТЕЙН

ПОД ПРОСТЫНЁЙ

(азбука сновидений)

А

аэропорт

Петров стоит в аэропорту.

– Ну что, – говорю, – решил лететь?

– Да, решил.

Я ухожу домой.

Вечером я снова в аэропорту. Смотрю – Петров.

– Ты что, – спрашиваю, – еще не улетел?

– Уже улетаю.

И тут часы Петрова разбиваются. Петров смотрит сквозь очки. Он притянут к земле чемоданами. Ему и на самолет надо, и часы жалко.

– Сейчас соберу, – говорю, и некоторые детали, которые подбираю с пола, ощупываю довольно хорошо. Подношу детали к лицу и думаю об их назначении.

Смотрю – Петров уже далеко.

Я сгребаю остатки часов и иду домой.

Потом смотрю, я снова в аэропорту. На чемоданах Петров.

– Ты что, – спрашиваю, – так и не улетел?

– Почему? Улетел. Разве не видишь, что я улетел?

Я оглядываюсь. Опа! Город-то уже другой.

Б

бордовые

Меня ведут через старый кирпич тюрьмы. Начальник тюрьмы говорит: «Выбирай обои себе в камеру». Передо мной какие-то мрачные засиженные тараканами рулоны.

– Вот эти хочу, – показываю на лиловые.

– А почему не эти?

Начальник показывает на бордовые. Я понимаю, что издеваться надо мной входит в его работу. Он и делает это лениво.

– Бордовые, по-моему, лучше, – так он говорит.

Когда я совершал преступление, я не знал, что надо мной будут издеваться еще и так. Если бы знал, был бы паинькой. Правда, что я совершил, я не помню. Да и какая разница. Важно, что я хочу сейчас лиловые. В них, где-то внутри цвета есть немножко надежды. А в бордовых – крысы.

В

врасплох

Это обычная пещера, но как только я туда захожу, на меня обрушивается туча стрел и топоров. Их так много, что свет только изредка взблескивает. И все эти стрелы застают врасплох какого-то человека, который и шага не успел сделать, и задуматься даже не успел, как весь оказался с ног до головы пронзен. Как будто кто-то сказал ему: «Замри»! И он замер, качнувшись вперед и немного улыбнувшись. Каждая из стрел что-то в нем остановила, какой-то из его порывов. И все эти порывы стали мухами в янтаре. И не было такого порыва, на который не отыскалось бы стрелы.

Г

гений

Сегодня я узнал, как умер Пастернак. Он принимал душ в ванной, и напором выбило распределительное ситечко. Пастернак растерялся – его залило водой. Он протягивал вперед руки, но ничего не видел – везде была вода. Это рассказал мне один видный литературовед. Еще он спросил, что я подарю ему, литературоведу, на день рождения? Сказал, что можно и пива. Еще сказал, у Пастернака остались две дочки – Маша и Даша, и что весь мир об этом знает. Когда струя шла через лейку, было чем дышать – струя-воздух, струя-воздух, а когда вода выбила ситечко – пошла сплошная струя, и Пастернак захлебнулся. Я немедленно это представил. То есть я представил себя Пастернаком, но так и не захлебнулся. Я пробовал по-разному, но мне все время удавалось выжить. Хотя, ведь это Пастернак. Он мог и не такое. Гений.

Д

друзья

Советский спортивный на первый взгляд магазин. Я иду за Петровым и Петровой, потому что я не к ним тогда приехал, но у них остановился. Вот они хорошие беззаботные молодожены, и мне легко с ними и пусто от чужого счастья. И я на коробке пишу поганую записку, якобы Петрову от любовницы и бросаю на мат-

рас в этом магазине спорттоваров. Отхожу. Я думаю: «Зачем?». Я возвращаюсь, чтобы уничтожить донос. Но Петров, идиот, вдруг первый подходит к матрасу, берет записку и несет жене.

– Смотри, чего я нашел.

Петрова читает, но я этого не вижу. Я уже в лыжи отвернулся. Петровы все это прочитали и дальше непонятно. По крайней мере, мы выходим из магазина.

Петров отличный парень, веселый человек и на меня он как-то дружески косится, и все думает и думает. А Петрова немного надупилась и окончательно замолчала.

По дороге Петров встречает друзей. Их очень много и все они такие же веселые, правильные парни. И все что-то где-то купили, и все это несут по ужасной дороге. Я знакоюсь с этими парнями, но мне мешает записка почувствовать радость и вообще дышать.

Е

еще бы

Я иду по Вишневого и вижу разгрызенный теннисный мяч. Небывалая удача – эти мячи разгрызает собака режиссера Германа. Я хватаю мяч, чтобы найти Германа. А вот и он со свитой. Похож на доброго бульдога. Я как бы между прочим передаю Герману мяч. Какое-то время мы идем вместе.

– Вы читали мой сценарий? – спрашиваю.

Герман останавливается. Вдруг с проворством кошки забирается на фасад особняка, и, приняв позу и форму ангела, говорит:

– Еще бы! Вы у нас где-то лежите. Да, я читал вас. Читал. Это неточно по интонации и по деталям. Вы у нас ну, где-то в накипи.

Я убит, но вида не подаю. Герман долго смотрит на меня, то ли запоминая мою реакцию, то ли давая мне отдышаться нравственно.

Ё

ёлки

Я иду по краю крутого склона. Лето, все зеленое. И вдруг из-за ёлок рядами выходят звери. Шеренга тигров, шеренга слонов, шеренга зайцев, шеренга павлинов и еще черт-те кого. Я стою в изумлении на пути этого парада. Осталось шагов десять, и тут выпадает снег. Осталось два шага – и на мне лыжи. Один – несусь по склону. Спасен!

Ж

жуть

Это дом с верандой. Одно неприятно – в дом залетает огромная ворона и садится на сервант. А пусть живет. Ворона мохнатая, как зверь, и умная. Она спрыгивает на пол, всем интересуется, но тут

откуда-то берется кот. И они с вороной выясняют у кого шире пасть. Ворона со здоровенными клыками, и кот не спешит ее загрызть. Они жуткую тишину создали перед этим то ли боем, то ли дружбой. Сверкают глазами и раскрывают пасти, показывая, сколько внутри них накоплено жестокости. И тогда я протягиваю руку и начинаю их гладить. Главное, чтобы рука поровну отдавала ласку. Как только вороне больше – кот шипит, как только коту больше – ворона шипит. Я балансирую между их умных шерстяных голов и сам всем рискую, потому что в драке этих чудовищ меня случайно разорвет на восемьдесят частей. Я стараюсь дышать ровно и гладить симметрично, но тут под моей ладонью возникает еще один кот. Белый. И мне уже нужно делить все это на троих. Ворона, кстати, не возражает, но она последняя в цепочке и на ней нельзя халтурить. Я как-то утихомирил стихии, и хорошо бы это все сфотографировать, но кто это будет делать?

З

завод

Сквозь клубы пара пробираюсь через мертвый завод. Где-то еще пышут печи, стонет железо, станок в середине завода еще бешено что-то производит, но никому это не нужно. Все живое, кривое пустилось в разврат. Рабочие водят хороводы, орут песни и гибнут в пустотах завода. Рыщут стаи революционно настроенных женщин, если ловят рабочего, сразу насилуют. Можно откупиться водкой, но где ее взять? Половину территории затопило горячей водой, тут же на станинах рожают. Огромные шары катаются по переулкам. Пьяные драки, свалки тут и там. Все ищут мало-мальски руководящее лицо, чтобы налить ему в карман горячей стали. Начались необратимые процессы: с конвейера сходят бомбы, валенки, линейки. Где все это хранить, неизвестно.

И

исход

Мы отчаянно переходим пустыню и с нами кошка. Я иду на обгон старухи. Кошка прыгает в телегу. Возница гладит кошку. Кошка млеет. Измена! Это наша кошка, а не его. Но кошка млеет. Ладно. А потом кошка отбрасывает нам туловище, а голову оставляет себе. И голова, по глазам видно, умнеет и уезжает. Умнеет, значит, кошка, а туловище... а если потеряется? Я верчу туловище и зову:

– Кис-кис!

А народ идет. Я так и отстать могу.

И тут телега голову привозит. Мы давай голову присобачивать. Но с какого же конца? А кошка умье! ну умье! без врача, во-первых, а, во-вторых, с какой стороны знает. Притиснулась голо-

вой к телу, зажмурилась, повозилась. И одним глазом думает на медицинскую тему, а другим мне радуется.

А народ идет. И я иду.

Смотрю, под ногами портфель. Кругом жара, а в портфеле холод. Когда я из него все вынул, – бумаги, камни, портфель стал еще тяжелее. Разве так бывает? И мне пришла мысль, что это мертвый портфель, и что я Моисей. И я сказал:

– Евреи, мы пришли. Мне нужен был знак, мертвый портфель.

Й

йоги

Человеку на пляже плохо, я вызываю скорую, а ее нет. Наконец, приносится, а где же человек? Я хожу, ищу его. На краю пляжа мне говорят:

– А он все погрузил в тележку, съел все свои евро и, наверное, вон туда, уехал.

От пляжа в неизвестность ведет дорога. Немного каменистая. Как же он мог уйти, он умирал! И тут не было этих скульптур. Женщин, которые занимаются то ли йогой, то ли любовью из камня. Какие-то индийские произведения неизвестно чего. Я украдкой заглядываю одной женщине между ее индийских ног, и вижу главное, и оно напоминает броню. Оно из камня, граненое, с четкими как панцирь краями. Эта ясность меня поражает и радует. Вот пример ясной формы! И, несмотря на то, что скульптура жутко изгибается и вся она змея почти, цитадель – ясна. Такими должны быть ворота храма – много дверей, ясно и четко. Я очень остаюсь доволен этой женщиной, а возлежит она перед входом в пещеру.

К

касабланка

На афише написано «Касабланка».

– Сколько стоит билет?

– Тридцать рублей и три перчатки.

Протягиваю деньги и перчатки: пару вязаных и одну кожаную. Трясу оставшейся кожаной перчаткой.

– А что мне с ней делать?

– Не мое дело, – говорит кассирша.

– Какой болван это придумал? А если бы я вообще пришел без перчаток? Хорошо, что у меня с собой две пары.

– Это не мое дело. Вы берете билет?

– Что же я зря отдал перчатки?

– Кино интересное, не переживайте.

– А у меня уже такое ощущение, что я его смотрю.

– Нет, – говорит кассирша, – оно так сразу не начинается. Сначала нужно зайти в кинозал.

Л

любовь

Петрова кричит:

– Подай патроны!

– В каком пакете? – спрашиваю.

– В печенье.

– Я залезаю в пакет с печеньем и достаю большие патроны.

– Эти?

Петрова пальцем заталкивает патроны в пулемет, улыбается и палит.

– У тебя интересная работа, – кричу я.

– Когда самолеты есть, конечно, интересная. Послушай, не самолет летит?

Я прислушиваюсь.

– Что-то гудит.

– Патроны! – кричит Петрова.

– А вот эти подойдут?

Я вынимаю из пакета газовые зажигалки. Петрова палит. Ощущение, что мы попали.

– У тебя тут уютно, – говорю, – много стекла, чистенько.

– Люблю порядок. Патроны!

– Остались только конфеты.

– Давай.

Еще что-то сбили.

– У тебя хороший пулемет, только грустный.

– Патроны!

– Авторучка подойдет?

– Давай!

– Сбили?

– Горит!

Мы ведем непонятную войну с самолетами.

– А ты любишь Тургенева?

– Спрашиваешь. Но на работе читать не могу. Патроны!

– Кончились, Петрова.

– Позвони Сталину. Я не знаю, что делать.

Я смотрю на телефон.

– Давай подождем. Может, сам позвонит.

– Давай, – кивает Петрова. – Только слушай хорошо. Не пропусти звонок.

Я вставляю в уши фонендоскоп и прикладываю мембрану к

телефону. Прислушиваю корпус. В телефоне тихо.

– Патроны, – торопит Петрова.

– Не мешай... О! Вот здесь что-то звонит.

Откладываю фонендоскоп, снимаю трубку и слышу в трубке чье-то дыхание.

– Не дышите. Дышите. Странно, звонит, а говорить не хочет.

– Да ты ранен, – смеется Петрова.

М

мамонт

Мамонт медленно встает на ноги. Мы бежим из пещеры, но снимаем, снимаем, исследуем. Мамонт отряхивается и спрашивает:

– Че это вы тут делаете?

Кто-то кричит:

– Где мясо? Мясо! А то он съест нас!

У меня в руках миска с мясом, но я и снимаю для науки. Мамонт не такой высокий, он вроде баскетболиста, со сливами вместо глаз. Я ему по полу миску толкаю, поешь, мол, остынь. А он – пять шагов на меня доисторических. Я бегу с кинокамерой по лестнице и думаю: «Все, конец!» А мамонт спускается и насвистывает. Я тем временем задаю ему вопросы как журналист, и он отвечает.

Потом над головой в пещере телевизор, а в нем футбол. Мамонт спрыгивает в пролет и перекрывает выход. И совсем уже долговязый баскетболист. Я тогда смело к нему спускаюсь, потому что, а что же делать?

– Ну, как живешь, мамонт?

Он хлопает меня по плечу:

– В домино играешь?

И мы уже в доску свои спускаемся во двор. А там белье стирают, мелюзга на велосипедах. И все орут:

– Привет, Мамонт!

– Здорово, Мамонт!

– Как дела, Мамонт?

И мы отвечаем:

– Нормально.

Н

ноль

Я пытаюсь позвонить по тарелке с кукурузой. Нажимаю на зерна, как на кнопки телефона, и сначала все нормально. Я знаю, где семь и где три, это просто. Каждое зерно обозначает какую-то обязательно цифру. Остается нажать ноль. И вот ноль-то я найти не могу. А без него не позвонишь. Я почему-то точно знаю, что все эти зерна, и даже косточка лимона – не ноль. Мне становится

одиноко. Я совершаю неприятное открытие – нельзя позвонить по тарелке с кукурузой. Нужно об этом всем рассказать. Ведь этого никто не знает!

О

они

Я лежу под простыней. К моей ноге подключены провода. Делают анализ – насколько мне плохо. Кругом ходят медсестры, но не решаются заглянуть под простыню. Я готов к этому, ведь они врачи. В палате какие-то мужики с такой же раной или болезнью. Некоторые уже танцуют. Потом приходит пожилая врач и говорит мне:

– Вообще-то у вас неправильная разбежка зубов. Мы вам будем лечить зубы и заодно косоглазие.

– А у меня косоглазие?

– Разбежка глаз неправильная. Все это связано с вашей ногой.

– Хорошо, – говорю. – Только выписывайте поскорее.

П

Петров

Открывается лифт. Стоит Петров с чемоданами.

– Петров! Где это я? За что мне это?

И все ему рассказываю про себя.

Петров с интересом начинает разделять мой ужас, и рассказывает подобные дикие истории, впрочем, мало касающиеся меня. Петров говорит, что постоянно слушает какое-то суперрадио немецкое, в котором самые последние странные происшествия и случаи. Слушал он и сегодня утром, и моего случая среди них не было. Я поражен.

– Не было? Что же, я все придумал? А может быть, мой случай еще в радио не попал?

Петров снисходительно допускает и такое.

Я рад, что снова встретился с Петровым.

– Вот я раньше писал стихи обличительные против мафии, – говорит Петров, – и не одну, кстати, мафию разоблачил. И о красоте писал просто. Был у меня такой период, понимаешь.

Я киваю. И так мы полусидим на его чемоданах. Мне даже это все нравится.

Р

разоблачение

Я играю с Петровым в шахматы и делаю неправильный ход. Вместо коня у меня кастрюлька. Кастрюлька занимает сразу несколько клеток.

Звонят в дверь. Петров идет открывать. Я залезаю под про-

стыню с головой.

Это пришла *она*. Петровы смеются в прихожей как заговорщики. Петрова заходит в комнату, а там я – под простынею. Похоже, что Петрова пьяна, потому что очень ее забавляет, что я здесь, у них под простыней. И она хлопает меня по голой ноге. Хлопает и приговаривает:

– Ух, какой ты стал толстенький!

Из-под простыни я вижу голую грудь Петровой. Потом заходит Петров.

– Ага, так вот ты где! А мы тебя везде ищем. Спишь что ли?

Я молчу. Я не хочу всего этого.

И вот Петрова открывает бельевой шкаф. Она достает оттуда письма. Мои жалкие письма. И Петровы кладут друг другу руки на плечи и громко смеются.

Одно за другим мелькают письма, и я через ее плечо пытаюсь успеть узнать то или иное письмо. Конечно, меня интересует последнее. Над ним, над ним она тоже позабавилась? Его она тоже давала читать Петрову? Но последнее письмо не попадает, и я думаю, там, под простыней, что, может быть, Петрова обманывает себя? Она любит, она уже давно любит меня, так зачем же ломать комедию?

И что здесь делает Петров?

И что здесь делаю я?

Затекла нога, чешется лоб, хочется повернуться, но тогда я выдам себя. Скорей бы они, что ли, ушли. Не могу, не могу понять, почему они так громко смеются? Ведь они прекрасно знают, что я сплю.

С

с

...и вот мы с С., и она тащит меня в кино, и там-то все и должно случиться, но что? В кино пьяные ковбои, но мы лезем в первый ряд, причем через нору, и можем вывалиться на сцену, а на сцене мужики в красных рубахах, бородатые распутицы. В общем, грех, наверное, но не точно, может и искусство, но вряд ли, что-то стыдно. А нам с С. дозарезу нужно остаться одним. С. очень непроста.

Нас хотят ковбои застрелить, особенно один, но мы не боимся, мы слишком ничего не боимся. Нас должны на счет три пристрелить, но мы вообще отчаянные. И вдруг С. тащит меня прямо к этим распутицам на сцену, но до сцены еще далеко. Перед нами и сценой есть улица, а на улице дом.

И мы в этот дом зимний бежим, и сразу на второй этаж, и там

совершенно должны уже остаться одни, но тут к дому, я это вижу в окно, подъезжает, сначала я думаю, мусоровоз, но нет, скорая. И к нам на кровать начинают сгружать трупы. И это нас не так уж волнует, меня, но у трупов одинаковые лица, и вот это отвратительно. И какая уже любовь теперь. А С. лежит на спине, смотрит мне в глаза и вся – призыв. Но только медики уезжают, как трупы приходят в себя, и начинается откровенный пентхауз. И они нам опять мешают. А один трупик, не занятый делом, постоянно лезет ко мне с вопросом типа прикурить. Я его беру за грудки и далеко зашвыриваю, но он снова упорно мелкий лезет, и я уже замучился швырять его как плюшевое что-то. Мелкий вредоносен, он меня отвлекает. А С. уже готова на все, но тут у С. начинает вспыхивать синим трупным огнем лицо, и она сатанеет и как-то мне очень тягостно. И я давай ее почему-то хлестать по щекам, а еще этот маленький болван все время лезет, и я его готов уже не то что убить, а даже нет такой меры наказания, такой неотвязный. Я луплю по щекам С. и уже боль в ладонях, и конечно, жутко, а С. хоть бы хны! Только мертвая краска на щеках играет, пламя лижет лицо, как бы из него вырываясь, но боком, и глаз от меня ни на миг не отводит. И мои глаза тогда опускаются к ее лону. И я вижу, что это не лоно, а две дощечки холодные. И, конечно, это не похоже на гроб, но все равно совершенно не по себе. Я показываю пальцем на лоно и кричу: «Смерть!» И тут это словно отгадка всему. С. рассыпается, трупы вон исчезают, маленький тоже наконец-то отстает, а ведь именно он меня и спас, он мне все мешал с С. слиться и погибнуть... С. не выдержала того, что она смерть и выдала себя этим пламенем из лица.

Т

тревога

Ветер с соседнего дома срывает кирпичи. Кирпичи не дают мне уйти от Петровых. Мы сидим за столом и пьем компот. Река беспокойна и пароход не присылают. Ветер такой, что пароход и не пришлют. Мы все когда-то дружили, смеялись, купались, но теперь река беспокойна, ветер срывает кирпичи.

Я выбегаю от Петровых и под обстрелом кирпичей и серой пыли бегу узнать о нашей судьбе. Река беспокойна, дачники хладнокровно собирают урожай. Синоптики по телеграфу передают бурю: провода на столбах крутятся как скакалки.

И меня чуть не сбивает самосвал.

– Ты что, кретин? Смотри куда едешь!

– Это ты кретин! Мне унижительно тебя объезжать, когда я резко умею тормозить и пугать тебя.

– И все же ты кретин, – говорю. – Ты видишь какая осень тревожная? И ты меня пугаешь. Нашел время.

Водитель молчит. Осень чудесно надвигается. Кирпичи летят, только успевай прищуриваться, отмахиваться и говорить себе: «Невероятно!»

У

урок

Вода прозрачна и невесома. Видно все, что творится на дне. Стебли, мусор, скамейка. Вода не то чтобы прозрачна, ее вообще нет. Ее нет, но я плыву. Я даже лечу, но руками развожу, как если бы плыл.

Я раскидываю руки в стороны, словно я орел или самолет, пробую парить, но тогда захлебываюсь, тону и снова начинаю грести. Я не пойму, почему же нужно плыть, если вода прозрачна и суха, как воздух. Нужно лететь, а не плыть. Это, наверное, все только притворяются, что надо вот так летать – подражая птице, а надо вот так – подражая пловцу.

Ф

фикция

Оглядываюсь. Вдали река бурная, а там где я иду, река только мешает. Висит туман. Я смотрю на волны и вижу что-то непонятное. Оно начинает двигаться и вдруг – довольно гигантская рыба. И я так думаю, за колено сейчас укусит. Я топаю ногой. Не пугается. Тогда я хватаю рыбу за горло и начинаю душить. Рыба вяло отбивается. Она и задыхаться не хочет и к воде интереса не проявляет. В конце концов, я доканываю ее. Кладу на песок и смотрю – не с кем радостью поделиться. Либо все на грузовиках едут, либо люди какие-то все в тумане.

И я решаю рыбу утопить. Беру, а рыба-то ненастоящая. Тюфяк какой-то. Солома. Фикция. Прямо в руках на обидные куски рвется. Не видно уже, что это большая-то рыба, непокорная.

Так, не белуга.

Х

хроника

Беженцы в тряпках. Каждый рассказывает свою историю. Я – репортер. Кругом танки и вдруг по бездорожью проезжает легковой автомобиль с открытым верхом. Я бы назвал его кабриолетом. Автомобиль заполнен водой. Вода доходит водителю до груди. А на месте заднего сиденья из воды, которая плещется и пенится, растет дерево. Небольшое, но ветвистое дерево. Карликовая сосна в кабриолете, и невозмутимый по грудь в волне во-

дитель. Все это куда-то уносится, и я думаю, надо бы запомнить. Ведь такое можно увидеть только на войне.

Ц

цифры

Смотрю – я в гостинице. Все в коврах. Смотрю – телефон.

Путаю всего одну цифру и попадаю к Петровым. Мало ли цифр на свете, а Петровы всего одни. Петрова говорит:

– Алле?

Я молчу. А Петрова говорит:

– Это ты?

Я кладу трубку на плечо. Петрова молчит в трубке...

Последнюю цифру я не ту набрал. Надо было пять, а я набрал – не пять. Я вообще не им звонил. Но Петрова затесалась в цифры. Прежде она вошла в мою жизнь, а теперь – в цифры.

Ч

ча-ча-ча

Кружу по заводу – ищу рубильник. На меня подозрительно смотрят сварщики. Одна искра отскакивает мне в прическу. Начинаются лестницы. Лестницы затоплены кислотой. Нужно бежать по широким перилам. Я сочиняю музыку. Ну, такую: «Та-та-та, та-та-та, ча-ча-ча». И чтобы ее не забыть, еще раз бегу по перилам. «Та-та-та, та-та-та, ча-ча-ча». Запомнил.

Врываюсь в кабинет. Отдел кадров дает мне перевоспитать проститутку. Мы идем с проституткой через пар, и я понимаю, что лекцией тут не отделаться. Можно открыть вечернюю школу, но где идеалы, учебники? Тем временем проститутка подсыпает яд рабочим.

– Прекрати, – говорю. – Мне неудобно, а теперь еще и страшно.

– Я не могу иначе, – отвечает. – У меня очень много яда.

За нами из цеха в цех тянутся трупы.

Ш

шнурки

В гостиницу приходит Петров. Он пьет чай, потом начинает взнуздывать ботинки. Наматывает на руку по шнурку, вбивает ногу в ботинок и изо всех сил натягивает шнурки. Он их на смерть хочет надеть, чтобы уже никогда не надевать, никогда не снимать. Он ставит ботинки на дыбы. Черные остроносые ботинки и черные носки, при его-то белых ногах. Он что-то хочет доказать. Взнуздывает ботинки. Может быть, хочет доказать, что мы с ним уже не друзья?

Потом начинает чистить ботинки. И все становится в гуталине. Он отчаянно работает щетками. Я хожу, затираю гуталин. Этим он хочет доказать, что мы никогда и не были друзьями. Его взнузданные ботинки горят. И в этих ботинках он хочет уйти. Я открываю дверь, а там его ждет женщина. Сухая, страстная, некрасивая. Она его быстро целует. Он смущается. Он быстро смотрит на меня, и они уходят. И все становится ясно. Это его новая Петрова.

Щ

щебень

Я пришел на поминки, а мне говорят:

– Выпей блюдце водки, разгонись на велосипеде и брось нож в кружку. Если попадешь – молодец.

И одна уже, смотрю, женщина, разгоняется бешено на велосипеде и бросает нож в кружку, и нож точно в кружке встает, как ложка, а впереди стена, и женщина еще чудом тормозит перед этой стеной – такой трюк, за который приз. Но я захожу в очень тесную квартиру. И какой там велосипед, какие ножи, но водку мне наливают в блюдце, как коту, и я думаю: «А зачем, что за дикость, и кому это надо разгоняться на велосипеде? А вдруг я кого-нибудь зарезу или убьюсь»? И водку я отказываюсь пить как-то бесповоротно. И тогда появляется Уткин. Не тот Уткин, который иногда не всегда Уткин, а тот, который Уткин совсем – от начала вот этого коридора с водкой и до конца – усатый и на велосипеде. И Уткин настаивает, чтобы я пил, а иначе, а иначе он говорит, что я его знаю. А я его уже давно не видел, Уткина, но я его, правда, знаю. Мы вместе учились, строили что-то. И вот он говорит:

– Пей, а иначе ты знаешь!

Уткин маленький, но настырный, и на этих поминках его все боятся и уважают. А некоторые хотят давно убить. И вот Уткин пристаёт к одному, чтобы тот вспомнил нашу молодость. А тот опускает голову и не помнит. Тогда Уткин высыпает ему на голову ведро щебня.

– Вспомнил?

– Нет.

Тогда Уткин берет цемент, мастерок, кирпичи и начинает замуровывать комнату. Мы из нее выходим, а он замуровывает. Уменьшает квартиру. Этот акт бессмыслен, но всем уже страшно. И я думаю: «Зачем он так живет? Чего ему не хватает?» И тогда я прячу в рот какие-то главные мелкие камни, на которых все и держится. И хочу уже их выплюнуть, но не могу.

Ъ

ять

Я приехал в деревню читать лекцию про царя. А там – Лев Толстой.

– Обычно царь носит прямые черные брюки и рясу.

Сказав это, я с опаской посмотрел на Толстого. Он закивал: «Все верно». Я продолжил:

– А царские ботинки называются, на-зы-ва-ют-ся...

– Боже царя храни! – запел Толстой.

Он спас меня. Я забыл, как называются царские ботинки, а он спас меня. Как-то на ять, а как? Затем Толстой подал знак крестьянам, чтобы они затихли, и сказал:

– Отменная лекция! Какой богатый материал и духовная подоплека!

Потом Толстой лег на сено и спросил:

– Может быть, у вас есть какая-нибудь просьба? Сами-то не пишете?

– Нет, что вы, никаких просьб!

– Жаль. Я бы помог. Могли бы вас в «Современнике» напечатать.

Ы

вЫход

Мы плывем на корабле. Он железный и пустой. Река широкая и посреди реки огромный ангар. Почему-то мы должны проплыть через ангар. Такое условие. Двери расходятся, и мы вплываем внутрь, но вода тут же кончается. И мы должны издать такой скрежет! но я его не слышу. Мы уменьшаемся, потому что это какой-то не ангар, а уже подсобка магазина. Наша громада умудряется протискиваться через ящики. Мы ищем себе выход, но обрастаем перулками магазина. Я выпрыгиваю, и с одной кладовщицей, и отцом ищу дверь. Дверь есть, но она закрыта. И отец посылает меня на улицу. Я обхожу ангар снаружи, и эту дверь нахожу, и даже могу открыть ее, но зачем? Как мы поплывем по улице? Тут же машины, ларьки. Что же, наше путешествие закончилось? Вода слишком быстро куда-то исчезла. Выходит отец, смотрит на меня и отдает строгое распоряжение. Мы здорово завязли в ангаре, и отец прав, нужна строгость. Хотя, конечно, лучше бы была вода.

Ь

местностьЬ

Я забираюсь на вершину горы, с которой должно быть видно Петрову.

Камни уходят из-под ног, я тону в них. Иду по колено в ост-

рых камнях. Я ставлю на камни чемоданы, чтобы опереться, но чемоданы тоже тонут. Черт возьми! В зубах у меня блокнот и ключи. Вдруг ветром срывает голову. Мою голову! Я почти на вершине, а голова внизу. Неужели спускаться? И Петрову уже видно. Правда, вижу я Петрову не глазами. Я и сам стою в камнях уже по пояс. Гора высока. Эта местность как-то продуманно меня обворовала, бросила здесь.

Я смотрю на Петрову, на ее домик. Кажется, Петрова машет мне.

Э

экзамен

Я – экзаменатор. Меня жутко боятся. Один поступающий растерялся, сидит и смотрит в одну точку.

– Ты че не рисуешь?

– А я потом.

– Когда потом? Пять минут осталось. Давай я тебе нарисую.

Быстро рисую ему Аполлона. Он говорит:

– У вас вот здесь неправильно.

Еще кто-то говорит:

– Не похож.

Ю

проворачиваЮ

Набираю номер, а последнего отверстия нет. Примерно упираю палец, проворачиваю. Все туже идет, туже, туже, дырки-то нет, и диск выскальзывает. При этом я хорошо слышу Маргариту, которой звоню, Константиновну. Она говорит:

– Кто-то не может дозвониться. Бедный мальчик!

Я

я

Идем с матерью через новостройку и ругаемся. Мы столько обидного говорим друг другу, что это конец. Это все из-за Уткина, который стал танкистом. Уткин как-то незаметно умеет с трепетом относиться к жизни, а я нет. И мать ставит мне в вину мою черствость. А я иду через новостройку, и знаю, что я черств. И тогда я решаю уйти совсем, навсегда. Буду отшельником, буду ходить по кинотеатрам и смотреть фильмы. И пока я не помирюсь с матерью, но я никогда с ней не помирюсь, я ни с кем в мире не заговорю!

И я прихожу в тоске в большую квартиру, где много родных. Там мой отец с плоскогубцами, там братья, и какие-то маленькие дети, вероятно, мои. С отцом я тоже страшно незримо ругаюсь. Но мы не кричим. Это борьба взглядами и дыханьем. Борьба

принципов и маек.

Братья вовлекают меня в футбол. Матч идет прямо в квартире, и братья прячут куда-то ворота. Я не знаю куда забивать, они завалили ворота вещами, а сами повзрослели, и теперь я их не узнаю.

Я тогда запираюсь в ванную и начинаю плакать в живот своим детям. Это почему-то два мальчика, которых я знаю, что люблю. Они еще маленькие и я не успел с ними разругаться. Все родные едят в зале, а я плачу в ванной, я не выйду к столу. Может быть, я и есть эти мальчики. Какой-нибудь один из них. Тот, что похудее. Но это неважно, важно, что мать и отец никогда не простят меня, и я, и я никогда ...

И вот я просыпаюсь. Мне бы обрадоваться, но у меня вся душа сгорела. Мне нечем радоваться. В груди ужас тупой. Мне плохо, плохо, и плохо. Во сне мне открылась правда, и эта правда теперь не закроется. Она будет всюду...

Чтобы правды стало меньше, я сел и записал свой сон. Сзади ко мне подошел сын – поцеловал меня. Потом подошла тихо жена – поцеловала меня. Я это тоже занес в тетрадь.

Потом я прочитал им свой сон, и то, как они подошли и поцеловали меня. Они снова подошли. И сын сказал:

– И «обняли», напиши.